

ДУЭТЬ

(Азамурада
с Бердымурадом)

Т

е

о

р

з

и

и

К

о

с

т

и

и

12+

Георгий Костин

Дуэль Агамурада с Бердымурадом

«ЛитРес: Самиздат»

1995

Костин Г.

Дуэль Агамурада с Бердымурадом / Г. Костин — «ЛитРес: Самиздат», 1995

Дети - они, как гении: изначально видят и чувствуют то, что взрослым людям застилает пелена обыденности. Но бывают счастливые случаи, когда люди, и став взрослыми, сохраняют детское видение. Однако преодолеть пелену обыденности трудно. Взрослая жизнь - ответственна, а детская - безмятежна. Между ними неизбежен конфликт. Порою - трагический. Именно он и привел героев повествования Агамурада и Бердымурада к дуэли. В метафорическом смысле эта дуэль еще и двух несовместимых восприятий себя и мира: детского и взрослого. Но люди в детстве, отрочестве и юности, когда счастливы - всегда правы.

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	8
3	14
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Часть первая

Детство, перешедшее в юность

1

Как-то быстро и незаметно наступила осень. Солнце пожелтело, сделалось мягким и нежным. Небо очистилось от въедливой белой пыли, поголубело, стало красивым и радостным. Воздух остыл до упоительной прохлады, приобрел плотский пьянящий вкус, пропитавшись изыском стойких озерных запахов.

С протяжной сладко-тягучей истомой закричали шурки, кружащиеся в поднебесье. Медленно, чуть колышась, словно прозрачная медуза в морской воде, проскользнула рядом в сочном воздухе длинная белая паутинка. Опять резко на короткий миг наступила милая, шуршащая сама по себе тишина. Сердце сладко зануло. Внутри груди и живота разлилась томительная нега, а загорелые до черноты плечи густо покрылись до локтей тугими мурашками, будто им стало зябко. Сережа непроизвольно широко улыбнулся, и будь он сейчас ребенком, непременно засмеялся бы беспричинным звонким счастливым смехом.

Больше других времен года Сережа обожал осень. Ему казалось, будто осенью время останавливается. И почему-то до невыразимой печали было жалко этого останавливающегося времени. Но вместе тем было неопишимо сладко переживать его в своем нежно щемящем сердце. Время для него всегда было чем-то большим, живым и текущим. Он всегда ощущал себя как бы внутри его. Оно имело для него осязаемые, хотя и едва уловимые плоть, цвет и запах. Причудливо переплетаясь между собой в завораживающих узорах, плоть, цвет и запах времени постоянно менялись в зависимости от того, какое солнце было на небе. Летнее или зимнее; дневное, или его не было вообще, а земля была густо и многозначительно окутала бархатистым матово-белым, отраженным луною светом...

Течение времени Сережа воспринимал, как течение самой Жизни. Он чувствовал себя во времени, будто находился в утробе матери. И мгновения несказанного счастья, каковые когда-либо переживал, были связаны у него с ощущением времени. В такие мгновения хрупкие фибры его души вдруг доверчиво распахивались и становились крохотными парусами, в к. И тогда его внутренняя жизнь текла вровень с внешней жизнью. А его внутреннее время растворялось во внешнем времени. Ощущение самого себя в нем притуплялось, но зато возрастало несказанно, становясь острее и явственнее, ощущение внешнего мира. И тогда его жизнь как бы перетекала вся в жизнь внешнюю, и сама становилась внешней жизнью. А он, Сережа, начинал чувствовать то, что в обычном состоянии чувствовать никак не мог. Все вокруг него каким-то сказочным образом оживало. Каждая случайная валяющаяся на дороге сухая веточка или запыленный камешек гладкой гальки – приобретали таинственную многозначительность и глубинный жизненный смысл. А растения: кусты и деревья, даже высохшие травы – радостно узнавали его, пришедшего к ним в гости, приветливо улыбались ему и как-то завораживающе сладко нежно заговаривали с ним на своем милом бессловесном неторопливом языке...

Особенно завораживающе сладко переживать подобное было в детском возрасте. Вспоминая о детстве, Сережа понимал, что жил тогда в милой яркой и жизнерадостной сказке. Где все друг друга любят и относятся друг к другу с радостью: и люди, и домашние вещи, и деревья, и камни, и даже пылинки с букашками-таракашками. Когда каждую вещь как по мановению волшебной палочки можно было превращать во что угодно. К примеру, длинный ивовый прут – в норовистого коня, чтобы умчаться на нем, фыркающем и нетерпеливо бьющим копытом

землю, куда угодно. Когда можно было любую штуковину реального мира втянуть в свою детскую игру и играть с ней до упоительного самозабвения.

Но все же самые яркие, самые сладкие до опьянения детские переживания Сережи было связаны с отцом. Сереже было лет пять. Он по обыкновению играл, возясь на полу, около вечернего обеденного стола, над которым тускло горела электрическая лампочка, чуть выглядывающая из-под матового квадратного стеклянного плафона. Он томительно ожидал, когда отец закончит обстоятельный и по обыкновению молчаливый ужин. И наступит, наконец, тот вожаденный миг, когда отец, оглушающее громыхая тяжелым табуретом, медленно поднимется из-за стола, и вдруг как бы ненароком сделает лицо заговорщика, и невообразимо долго застынет в неподвижности, излучая таинственную многозначительность. Так повторялось из вечера в вечер, и Сережа загодя знал, что сейчас за всем этим последует. У него от нетерпения порою даже вспыхивала судорога под ложечкой. Но это его нетерпение было тоже сладостной мукой, что откажись отец мучить его, а сразу приступал к самому главному, то Сережа, пожалуй, и обиделся бы на него.

Во время этой паузы стояла ошеломляющая тишина. Было слышно даже как лязгают в руках матери, задевая друг о дружку, вязальные спицы. Как жужжит, выписывая неровные круги вокруг плафона, одинокая муха, будто заблудившийся во вселенной тоскливый астероид. И конечно, уже в этой паузе Сережа проваливался в свое любимое состояние. Когда тело его изнутри, из-под самой ложечки, начинало напористо деревенеть, а кожа на плечах и лопатках стягивалась, покрываясь тугими мурашками неопишумого блаженства. Сережа остро чувствовал при этом, что в такое же точно состояние погружаются и его друзья, ежели они гостили у него в это время. Вадик, держа в ладонях крохотную гоночную машину, поворачивал лицо к Сережиному отцу и, непосредственно медленно открывая рот, застывал, как восковая кукла. Выпученные глаза его, вспыхнув, загорались нетерпеливым ликованием. Никитка, он похитрее, старался не показывать виду и продолжал водить по полу туда-сюда гоночную машину. Но уже беззвучно и без прежнего азарта. Потому как предательские мурашки бесцеремонно и властно стягивали и его кожу не только на лопатках, но и на ногах: на бедрах и икрах; и даже на пальцах рук, приподняв дыбом крохотные волоски.

В это же состояние сладкого оцепенения, казалось, погружались и все находящиеся в комнате вещи. Круглый обеденный стол с толстыми ножками, подогнутыми, будто в коленях, от произвольно вспыхнувшей сладости. Матерый огромный и грузный от собственной мудрой важности книжный шкаф. Глубоко задумавшийся, словно философ, держащий указательный палец у лба, широкий застеленный потертым шерстяным пледом диван. Разве что только тугими мурашками не покрывались их оживающие деревянные части тела... И только мать по обыкновению не замечала этой многозначительной паузы. Она продолжала, никого и ничего вокруг себя не видя, споро орудовать поблескивающими вязальными спицами, словно фехтовалась ими сама с собой. И при этом как обычно, исступленно шевелила влажными покусанными губами.

А потом нарочито долго смачно потягивался, задиристо сверкая колючими карими глазами и широко растягивая обветренные губы в счастливой родительской улыбке. Медленно склоняя голову набок, бросал на сына одним левым глазом заговорщический взгляд. И тягучим мягким музыкальным голосом спрашивал: «Ну, что? А теперь диафильм?» «Дааа» – протяжно отвечал Сережа животом и грудью одновременно, потому как не мог пошевелить открытым от изумления ртом. «Ну, коли, Ваше величество желает посмотреть диафильм, будет вам – диафильм» – Шутливо говаривал отец певучим басом, как бы пробуя уже свой голос на звучание. Уходил, чуть покачиваясь от сладкого родительского счастья и накопившейся за день усталости, в соседнюю комнату. Скоро возвращался, держа в руках массивный диапроектор и картонную коробку из-под медикаментов с шуршащими в ней свернутыми лентами диафильмов. А Сережа один или с друзьями усаживался на полу со скрещенными по-турецки ногами

перед голой белой стеной. И ему всякий раз огромным усилием воли приходилось сдерживать себя от преждевременного запуска собственного подробного и несказанно красочного фильма. Фильма, который его воображение произвольно проектировало на чистое полотно памяти...

2

Солнце нежное желтое и большое- стойко замерев в зените, приятно жгло плечи. Оно походило сейчас на обстоятельную цветущую корзину подсолнуха, с чуть шевелящимися розовыми лепестками – шелковыми язычками пламени. Сладко и уютно звенела тонким колокольчиковым звоном роящаяся вокруг головы мошкара. К стойким озерным запахам примешались резкие запахи высыхающих на солнце водорослей и сырой донной глины, кое-где выглядывающей небольшими островками из мелкой воды и покрытой, словно проплешинками, длинными подвяленными бурыми водорослями. Становилось мелко. Сережа шел, ступая босыми ногами по толстому пружинистому слою перевитых между собою длинных стеблей рдеста. Не проваливаясь сквозь него, как прежде, а только прижимая его ступнями к глиняному дну и омывая ноги по щиколотку становящейся все теплее и теплее озерной водой. Зато вертикальные отростки рдеста с длинными узкими листочками и толстыми с палец, торчащими как свечи, семенными сережками, осыпающимися от соприкосновения с Сережиными ногами – становились все выше, кустистее и гуще. И теперь доставали колен, апорою, когда Сережа непроизвольно ускорял шаг, чувствительно хлестали по ногам, словно колючие колосья на привольном лугу.

Вскоре вода под ступнями Сережи перестала хлюпать, но длинные и прочные как шпагат стебли рдеста оставались быть мокрыми, а донная глина под ними сырой и вязкой. Сережа равномерно переносил на каждую ногу тяжесть своего тела, глина легко выбрызгивалась сквозь рдестовые стебли и, словно теплое сливочное масло, скользко проступала сквозь пальцы. А когда в чрезмерном количестве налипала на ступни до самых щиколоток, словно обувала ноги в грязевые ботинки и сильно утяжеляла ходьбу, Сережа поочередно широко, словно косой размахивал ногами, сбивая глину с ног о вертикальные торчки рдеста. Стараясь, чтобы стебли с жесткими листьями и шершавыми плодовыми сережками попадали между растопыренными пальцами. Но вот, наконец, донная глина под ногами сделалась тверже, и теперь походила на круто замешенное тесто. Она слегка проседала под ногами, но не проступала сквозь стебли рдеста. Хотя те стали тоньше и реже, и поменяли сплошной бардовый окрас – на светло красный, говорящий о том, что земля под ними – давно без воды, высохла и даже начала растрескиваться. Идти сделалось легче: вертикальные ростки рдеста стали ниже, на них было всего два-три узких листочка и чахлая жесткая плодовая сережка. Он наступал теперь на них сверху, и оставшаяся на ступнях глина под прямыми жгучими солнечными лучами быстро высохла, потрескалась на чешуйки, с загнутыми краями и отшелушилась.

Сережа по обыкновению был задумчив, взгляд его был рассеянным, направлен себе под ноги и на пару метров вперед. Деталей: узких зеленых листочков рдеста, прячущихся в них красноватых стеблей, похожих на длинных упругих червей, и оранжевых плодовых сережек – он теперь не замечал. Зато позвоночником и раскрытыми душевными фибрами отчетливо чувствовал, что все обозримое пространство вокруг него относится к нему доброжелательно. И ему казалось, что он сам сейчас как бы – плоть от плоти огромного обмелевшего водохранилища, по высохшему дну которого целенаправленно шел. На душе у него было комфортно.

– Привет, браконьер! – Вдруг перед ним прозвучал мягкий знакомый с детства слегка картавый голос.

Сережа узнал по голосу своего бедового приятеля детства туркмена Агамурада, которого в поселке все до сих пор звали Агашкой. Ничуть не удивился внезапному появлению друга. Сережа с детства знал, что Агамурад имеет склонность появляться где угодно, и появляться как бы неоткуда и как бы ни в чем ни бывало. Но сейчас Агамурад явно был не один. Сережа сосредоточился. Привычно вспомнил о своем особенном душевном умении, которым овладел

в раннем детстве, когда, болея ногами, лежал в неподвижности, и – выучился внутреннему видению. Не поднимая глаз, обратил внутренний взор в сторону Агамурада. Углядел два стоящих у него на пути человеческих силуэта и по обыкновению куражисто засоревновавшись с Агашкой, мол, и мы тоже не лыком шиты, ничуть не сбавил шагу. Разве что только едва заметно раздвинул непроизвольно от нахлынувшей вмиг благодати губы и узнал-таки во втором силуэте еще одного своего друга детства. Теперь оставалось только разыграть из себя сомнамбулу, ничего не видящего и не слышащего вокруг. Сделать это было нетрудно: Сережа часто бывал таковым, и все, кто его давно знал, привыкли к нему такому. Вот и теперь его друзья детства подумали, что он, как обычно, спит на ходу и решили потехи ради понаблюдать за ним со стороны. Собрались было даже расступиться, чтобы пропустить его мимо себя. Но Сережа, подходя к ним с опущенными прикрытыми глазами, вдруг, не поднимая глаз, выкинул вперед правую руку в сторону второго человеческого силуэта и обыденным тихим голосом сказал:

– Здорово, Берды.

– Да ты же ни разу не посмотрел на нас! – Изумленно воскликнул Бердымурад, – Как узнал, что я это я? Мы за тобой давно смотрим. Ты ни разу не поднимал голову.

– Так, я же говорил тебе, он браконьер! – Радостно воскликнул Агамурад и, дружески шлепнув Сережу по загорелому плечу, добавил, – Здорово, Серега. Рад тебя видеть, чертяга!

Скуластое лицо Агамурада удовлетворенно расслабилось. Тонкие темные губы слегка сморщили гладкую смуглую кожу. Редкие толстые черные волосики на небритом подбородке слегка подались вперед. Выражение лица его по обыкновению стало излучать довольство матерого мудрого лиса. Черные пышные волосы на голове и торчащие, слегка заостренные кверху уши усилили сходство с лисом. Агамурад был одет в просторную серую холщевую рубашку национального покроя с характерной узорной вышивкой на широком распахнутом вороте. Внизу на нем были заношенные до цвета бледно-голубой пыли джинсы, подранные на коленях и с неровной бахромой на манжетах. В правой руке он держал свою допотопную пятиметровую тяжелую острогу, деревянный, отшлифованный от долгого употребления ладонями, шест которой был обмотан выгоревшим на солнце бельевым шнуром. Частые толщиной в мизинец металлические зубья остроги были, как всегда, тщательно заточены и, словно лезвия финских ножей, самодовольно поблескивали.левой рукой Агамурад придерживал за черный ствол, словно за палку, лежащее на его узком плече с выпирающими ключицами – старое одноствольное ружье с потертым прикладом.

– На-ка вот. – Сказал он, и, легко подняв за ствол ружье с плеча, протянул его Сереже. – Понеси теперь его ты. И поосторожнее – заряжено: один единственный патрон в патроннике. Будешь секундантом. У нас с ним, – Агамурад показал сощуренными, слегка поблескивающими от игривого лукавства черными глазами в сторону Бердымурада, – сегодня дуэль. Сегодня мы разрешим, наконец, раз и навсегда надоевший мне до чертиков наш с ним спор. Сегодня – я его, или он – меня, или мы – друг друга разом... Так что будешь одновременно и свидетелем: кто – кого...

Взяв ружье за нагревшийся на солнце тяжелый ствол, Сережа также лихо и степенно устроил его у себя на плече, словно это был обыкновенный чабанский посох. Вопросительно глянул пронизательным взглядом на Бердымурада, чтобы удостовериться: правду ли говорит Агамурад по поводу дуэли, или же по своему обыкновению опять замысловато шутит. Бердымурад чуть растянул темные полноватые губы. Гладковыбритое до синевы не более чем полчаса назад пространство над верхней губой у него нервно поблескивало капельками пота. Он одновременно приветливо улыбался и Сереже, и словам Агамурада, как шутке. Но было явно видно, что он нервно напряжен изнутри, сосредоточен и даже старается внутренне дистанцироваться от Агамурада, а теперь и от Сережи тоже. Одет он был как-то нелепо для водохранилища: в летний нарядный, можно сказать, праздничный легкий светло-голубой костюм. Под расстегнутым пиджаком на нем была свежевывглаженная хлопчатобумажная рубашка бежевого цвета, а

застегнутый жесткий ворот рубашки туго стягивал толстым узлом полосатый оранжево-желтый галстук. На левой стороне груди в районе подмышки оттопыривала пиджак красная потертая кожаная кобура, из которой выглядывала черная рукоятка пистолета. В опущенной левой руке Бердымурад держал черные, начищенные до зеркального блеска туфли, в носочки которых были вставлены сложенные хлопчатобумажные темно-зеленые носки. Выглаженные до отчетливой стрелочки брюки были аккуратно закатаны до колен, обнажая смуглые, но совершенно незагорелые ноги, густо поросшие жесткими черными волосами.

– Толку нету, что ты на него смотришь. – Обращаясь к Сереже, музыкально прокартавил Агамурад. – Все одно будет молчать как партизан. Настырно будет молчать... Упрямый... Вон аж как весь сжался изнутри, и жилы – натянуты, как струны на дутаре... Я ему говорю – расслабься, давай по-людски поговорим... Выпьем чайку в тени под абрикосовым деревом, помолчим, попотеем, понежимся под прохладным ветерком, зажмурившись от сладких дуновений. То есть – сделаем все, что делали наши предки-кочевники, и, глядишь, решение само придет на ум. И тогда поймешь, наконец, что я не браконьер. Точнее, конечно же – Браконьер, но с самой большой буквы. Нечета тем, кто расставляет сети и глушит рыбу динамитом. Последних я бы сам подорвал на динамите, чтобы всплыли кверху брюхом, и хоронить не велел – пусть гниют где-нибудь прибившись к берегу и чтобы их объедали мальки и креветки... Но я же ведь не такой! Я не гублю рыбу! За последние шесть лет всего две рыбешки сорвались с моих зубьев. Да и то я их потом догнал и заколол заново. А ведь он знает, что у меня, порою, рыбешки бывают и – под пятьдесят килограммов. Таких, если им черепушку не пробьешь с первого удара – фиг удержишь, даже если мы все трое будем держать острогу. Шест остроги скорее поломается, чем мы такого сома сумеем вдавить в дно... Раскидает он нас, блин, в стороны, как слепых котят. А ведь сом этот – не мишень в тире, что на виду: целься – не хочу. Его ни фига не видно под трехметровой мутной водой. Да и лежит он на дне, по самые усы зарывшись в ил. Его можно только почувствовать позвоночником. Да, ты Серега, это не хуже моего знаешь. Да и он, Бердышка, тоже – только прикидывается, а сам лучше нас понимает какво взять такого сома. Потому что почувствовать сома – это десятое дело. Хотя ни один в мире вшивый браконьер-сеточник и на такое неспособен... Нужно суметь – сосредоточиться!.. И так сильно и точно ударить острогой через толстую воду сома, чтобы тот и не пошевелился даже. А ведь бьешь всякий раз вроде как наугад... До сих пор, блин буду, удивляюсь, как это у меня получается... Словно не я, а Сам Всевышний бьет моими руками острогой рыбу... Но если так, тогда объяснимо: Он видит сквозь все и умеет тоже все... Но Всевышний не может быть браконьером! Точнее, он, конечно же – браконьер, коли пользуется острогой, но Браконьер – с большой буквы, а потому и не браконьер вовсе...

– Во, во... Ты уже и Всевышнего приплел. Ты еще скажи, что ты – пророк Его... – Напряженно одновременно вежливо и уничижительно улыбнулся Бердымурад. Резко неприязненно отпрянув, сделал шаг назад и произвольно потянулся правой рукой к кобуре. Но опомнился, остановил руку и, отыскав нервно подрагивающими пальцами пуговицу на сорочке, принялся её тереть.

– Да при чем тут приплел?! – Вспыхнул Агамурад. Голос его прозвучал тоньше и нервнее, как захлебывающийся колокольчик. Но мигом спохватившись, Агамурад вскинул свободную левую руку к носу и принялся надсадно потирать ноздри, слово предотвращал чих. А через полминуты обычным спокойным мягко журчащим голосом обратился непосредственно к Сереже. – Вот видишь, ни фига не понимает, или прикидывается, как... – Тут он собрался употребить какое-нибудь обидное для Бердымурада сравнение, но сдержался и ровным голосом продолжил – будто не понимает. Я ему какой месяц по-хорошему пытаюсь объяснить, что давно вырос из обычного браконьера, как пятилетний пацанчик из коротких штанишек. Что мое мастерство владения острогой не подпадает под статью, которую он мне всякий раз тыкает под нос. Мое мастерство давно не является варварским способом добычи рыбы, и рыбу я не

гублю. Я даже не добываю её по весу больше, чем положено при любительском лове. А если охочусь на крупную рыбу, то никогда больше одной не забиваю. В этом смысле я ничем не отличаюсь от спиннингиста или донника. Разве что моя добыча на порядок гуманнее: я сходу убиваю рыбу, не давая ей что-либо сообразить, а спиннингисты и донники мучают рыбу, вываживая её, утомляя до полусмерти...

– А, по-моему, это ты ни фигя не понимаешь, и даже не пытаешься понять. – С нервной дрожью в голосе напористо возразил Бердымурад. Хотя некоторое подобие вежливой улыбки осталось-таки на его лице. Но губы и гладко выбритые щеки побелели. – Ты говоришь мне о Справедливости, а я говорю тебе о Законе. Ты хочешь, чтобы я отнесся к тебе по Справедливости, а я работаю, и деньги за это получаю, чтобы относиться ко всем и к тебе лично по Закону. А в Законе четко прописано, что острога, так же как и сети, вентеры, верши – запретные орудия лова. Тебе показать, где это написано? А насчет справедливости? Я разве против неё? Но о справедливости ты говори не со мной, а с Серегой. И я пойму, если он поймет тебя и признает твою правоту. Но тогда он пусть подсуетится, станет депутатом и внесет поправку в этот закон, по которой высшее мастерство владения острогой – не будет являться запретным видом ловли рыбы. А я уж, будь уверен, оценю твое мастерство в твою пользу. Я, что ли не вижу, что ты виртуоз? Да я, если на то пошло, лучше, чем кто-либо знаю, что, таких, как ты, может быть больше и нет на свете...

– Да ты сам понимаешь, что говоришь?! – В сердцах воскликнул Агамурад, и его красивые картавые звуки стали перерастать в едва сдерживаемые взвизгивания. – Серега – депутатом? Да с какого рожна ему нужно быть депутатом? И даже если станет он депутатом, и подготовит поправку, то кто ж её примет ради одного человека?! Даже если у него, как у тебя, крыша поедет от этой поправки, и он, забросив все свои дела и личную жизнь, будет добиваться этой поправки... И даже, можно допустить и такой фантастический вариант, соберет экспертов из рыбнадзоров во главе с тобою, то все равно на это уйдет уйма времени... Пока я буду ожидать, когда специально для меня лично будет принят закон, по которому я буду иметь право добывать острогой рыбу, я напрочь потеряю форму. Ты это знаешь не хуже меня: ты вот, если не потренируешься минимум раз в неделю в тире в скоростной стрельбе, то раз и съехал с норматива КМС на норму первого разряда, а то и даже второго... Скажи тогда уж прямо, что просто хочешь убить во мне Браконьера! Но, блин, я тебе уже сколько раз говорил: тогда меня лично убей. Я – Браконьер от Бога, и Браконьерство – моя жизнь, и отнять у меня Браконьерство можно только вместе с моей жизнью.

– Это твои проблемы. – Продолжая вежливо улыбаться, с упрямой неуступчивостью возразил Бердымурад. Голос его нервно подрагивал, а губы и щеки побелели еще сильнее и стали выглядеть, словно припудренные. – У тебя своя правда, у меня – своя. И твоя правда ничуть не лучше моей, впрочем, и не хуже. Я же ведь признаю твою правду, а что же ты не желаешь признать мою?

– Да в чем, блин, твоя правда?! – Вспылил Агамурад, судорожно растопырил пальцы на свободной руке, напряженно пошевелил ими. И резко отряхнул ладонь, словно что-то сбросил с неё.

– Я тебе тысячу раз говорил, моя правда в том, что ты – добываешь рыбу запрещенным способом ловли. Ты – браконьер. И мое дело – поймать и наказать тебя. – С нервными придыханиями ответил Бердымурад. Не сдержавшись, принялся нервно кусать губы и неудержимо хмуриться.

– Ну, ты, блин, заладил! Твоя правда – поймать меня!... – Воскликнул Агамурад и стал дергать судорожно напряженными пальцами возле своих гневно выпученных глаз. – Да ты никогда в жизни не поймаешь меня! Ты только надумаешь пойти ловить меня, а я это уже чувствую. Ты вон давеча пил себе чай, и вдруг тебе моча в голову стукнула: поймать меня!.. Все! И чай не допил, стал, блин, собираться – меня ловить... Все, думаю, сейчас припрется на

водохранилище... И приперся ведь... И не лень было тебе пять часов лежать в кустах вон на том дальнем бугру... Все высматривал меня... Скажешь, не было этого что ли?

– Было. – После небольшой паузы признался-таки Бердымурад. – В голосе его прозвучало смущение, будто его застукали за постыдным подростковым занятием. – Но я между прочем, тоже понял, что ты заметил меня. И стал валять дурака на зло мне. Ходишь, по лужам как цапля. Тыкаешь просто так острогу в воду... Ну, я подумал, что ты заметил отблеск от моего бинокля. Следующий раз буду следить за тобой без стекляшек...

– Ага, по биноклю я тебя определил.. – Саркастически деланно рассмеялся Агамурад. Запустил растопыренные нервно дергающиеся пальцы в пышные волосы и стал надсадно чесать голову. – Ты еще скажи, что я по запаху учуял твоё дерьмо, которым ты сходил, отойдя на двадцать шагов влево и спустившись в ложбину. Поносом, между прочим, сходил. Живот, между прочим, у тебя схватило... Все твоё естество бунтует против тебя самого, блин, а ты...

– Но, если ты такой прозорливый, – не сдержавшись, в голос воскликнул Бердымурад, – что же ты боишься. Что я тебя поймаю?!

– Да не боюсь я, блин, что ты меня поймаешь! – Тоже в голос взвизгнул Агамурад. – Я тебе тысячу раз говорил, что ты мне, намериваясь меня поймать, портишь рыбную ловлю! Мне вместо того, чтобы сосредотачиваться на рыбе, приходится сосредотачиваться на тебе. Ты следишь за мной, чтобы поймать меня. А я вынужден следить за тобой, чтобы ты не поймал меня... И – водить тебя за нос... В этом, конечно же, есть тоже прикол, но это, блин, для меня – онанизм! И получается, что тут уже нет ни твоей, ни моей правды...

– Моя правда тут есть, а вот твоей, раз ты так говоришь, точно нету... – Теперь и Бердымурад повысил голос, его глаза сощурились еще сильнее и зловеще засверкали, словно угольки, отчаянным гневом.

– Брек! Брек! Други мои! – Добродушно засмеявшись, воскликнул Сережа и, легко подняв за ствол ружье с плеча, установил приклад между Бердымурадом и Агамурадом. – Вы что прямо сейчас будете драться? У вас что, прямо здесь место дуэли? И, вообще, я не понял, какое оружие вы выбрали для дуэли? Вы что, на полном серьезе хотите драться?

– Конечно, на полном. – Ответил Агамурад, кусая до побеления нижнюю губу и неприязненно резко трясая ладонью с судорожно растопыренными пальцами. – Ты разве не понял, что мне с ним не ужиться? Он упрямый, как ишак, блин, не хочет идти ни на какие уступки. А я, ты знаешь, да и он не хуже тебя знает, не могу жить без остроги. В ней, как иголке для Кошcea Бессмертного – вся моя жизнь. Отнять у меня острогу – значит отнять и саму жизнь. Я же ведь давно сросся с нею, она для меня – словно третья рука, и даже ценнее руки. Потому что с острогой я преображаюсь. Я становлюсь с нею, как бы это сказать поточнее, больше, чем человеком. Я начинаю видеть то, что никто не видит, и слышать то, что никто не слышит. А без остроги даже я это не вижу и не слышу. Для меня острога это ключ в ТУДА, где может быть еще никто из людей никогда и не был. А если и был, то очень и очень давно, что напрочь позабыл ТУДА дорогу. И даже позабыл совсем, что это ТО – есть на самом деле, что ОНО существует... Да я разве, боюсь, Серега, что он у меня острогу отнимет? – Сделаю новую. Или что он отнимет у меня возможность добывать рыбу? – Уж на обед себе и семье всегда смогу наловить рыбы и как-нибудь по-другому. Я боюсь, что он у меня ЭТО отнимет... Что из-за его тупоголовой настырности я разучусь входить ТУДА...

– Никто у тебя ЭТОГО не отнимает. – Нервно дрожащим голосом поправил Агамурада Бердымурад. – Ходи ТУДА сколько тебе угодно, но без остроги. Если ОНО есть, то в него можно ходить по-всякому...

– Вот опять двадцать пять! – Взвизгнул Агамурад. – Да не умею я ходить ТУДА, окромя как с острогой. Если умел, то ходил бы! Да ты-то хоть на себя посмотри. Ты ведь тоже ТУДА ходил. Я знаю это. А как тебе ТУДА ход закрыли, в кого ты теперь превратился? Уж лучше, блин, удавиться, чем жить так, как сейчас живешь ты!

– Да что ты переходишь на личности?! За слова отвечай! – Вскрикнул теперь и Бердымурад. Лицо его вмиг побелело до такой степени, словно на него выплеснули белила, а затем на смертельной белизне выступили красно-кровавые пятна.

– Всё! Всё! Понял! – Громко и требовательно крикнул Сережа. – Хватит! Вопросов больше не имею. Не можете договориться – деритесь! Но расскажите тогда, как хотите драться?

– Мы сначала хотели драться по-настоящему. – Беря себя в руки и тряся растопыренными пальцами, словно стряхивая с них нервное возбуждение, стал говорить Агамурад. И по мере того как он успокаивался, голос его становился все более картавым и музыкальным. – Я – с острогой, он – с пистолетом. На расстоянии десяти метров... На таком расстоянии я пробью его грудную клетку насквозь. И он умрет, не почувствовав даже боли. И он с десяти метров не промахнется в мое сердце. И это правильно: если мы не можем жить вместе, то кто-то из нас должен умереть. Хорошо, что тогда, когда решили драться, у нас не было оружия. А то бы уже поубивали друг друга. Кстати, скорее всего, именно так и окончилась наша дуэль: я успел бы бросить в него острогу, а он, пока острога летела в него, успел выстрелить в меня. То есть это была бы уже не дуэль, а взаимное самоубийство. То же самое было бы и при другом, допустимом, конечно, варианте. Если кто-то из нас замешкался и был бы убит один. В этом случае, второму – тоже не жить, его посадили бы, и может быть, даже расстреляли. И опять никто из нас не выиграл бы...

В ту ночь, когда мы договорились о дуэли, я почти не спал. А под утро (у меня всегда дельные мысли приходят под утро) меня осенило... Зачем нам убивать друг друга, когда мы можем просто посостязаться: кто из нас лучше: а точнее, быстрее и прицельнее – владеет своим оружием. Стрелять и бросать острогу по какой-нибудь нарисованной цели – бесполезно: не определишь, счет будет идти на тысячные доли секунды. И тогда я вспомнил о толстолобике... Я давно его пасу. Знаю доподлинно, весь его маршрут, который он проделывает каждый день по водохранилищу. И могу с точностью до минуты сказать, где и когда он будет находиться. Толстолобик – матерый, килограммов где-то под десять. Прекрасная живая мишень... У толстолобов, ты ведь знаешь, одна замечательная особенность... От неожиданного звука они выпрыгивают из воды метра на полтора... И телепаются в воздухе где-то около секунды... И я тогда предложил Бердышке: а давай, вместо того, чтобы убивать друг друга – посостязаемся. И рассказал ему о толстолобе. Берды, надо отдать ему должное согласился: не совсем, видать, у него крыша съехала. Решили так. Подойдем к месту, где будут проплывать толстолобик. Пальцем из ружья в воздух. Толстолоб выскочит из воды, где-то приблизительно на расстоянии десяти метров от нас. Я брошу в него острогой, а он выстрелит по нему из пистолета. Кто из нас попадет в него (а попасть в выпрыгнувшего из воды толстолоба, сам знаешь, непросто) тот и победит.

Договорились: если он попадет, а я промажу, то разбиваю о ближайшее дерево свою острогу и даю слово мужчины, больше никогда добывать рыбу острогой не буду. А я уже говорил, что это для меня – равносильно смерти. Ежели я попаду, а он промажет, то, не мое, конечно, дело, как он для себя тут определится, но впредь будет позволять мне добывать рыбу острогой на законных основаниях... Ежели попадем оба – значит, оба имеем право на собственную правду, и в этом случае – оставляем все как есть: я продолжаю охотиться с острогой, а он – ловить меня как злостного браконьера. Ну что же, этот вариант меня тоже устраивает... Буду учиться, одновременно вчувствоваться и в него, чтобы не дать ему себя поймать, и в рыбу, чтобы её добывать... Ну а ежели, что, вообще, невероятно, но теоретически и такое ведь может быть, мы промажем оба, то оба обязуемся впредь не иметь никакого отношения к рыбе. Я отказываюсь не только добывать её острогой, но и, вообще, как-либо удить её; а он уходит из рыбнадзоров, и тоже никаким способом удить рыбу никогда не будет... Это для нас обоих – самый худший вариант... Но если мы действительно промажем, то окажемся просто-напросто – болтунами... По крайней мере, я, если промажу, то никогда не смогу считать себя Браконьером с большой буквы... А быть просто браконьером для меня хуже, чем, вообще, им не быть...

3

Дальше друзья детства шли молча. Справа – Агамурад, держа острогу навису в правой руке. Шаг его был пружинистым, ровным и натренировано бесшумным. Посередине, рядом с Агамурадом, шел Сережа. Он оделся, но остался босым, чтобы продлить удовольствие от ходьбы по траве босиком. В левой руке нес сандалии, правой придерживал за ствол лежащее на плече ружьё. Слева, на расстоянии двух с половиной метров от него шел Бердымурад. Он был взволнованным. Нервно хлюпал носом и часто потирал его, сжимая большим и указательным пальцем. Друзья по обыкновению старались вчувствоваться в благодать обмелевшего осеннего водохранилища и сладко дышали густым сочным воздухом, настоящим на бесподобных озерных запахах высыхающих водорослей и начинающей преть мелеющей воды. Кружащиеся в пронзительно синем поднебесье юркие шуры, сбивающиеся по осени в огромную стаю, чтобы лететь в теплые края – заметно приспустились ниже. Их печальные, завораживающе тоскливые протяжные музыкальные крики, сделались громче и надсаднее. И как-то по истомному больно и приятно нежили души.

Неловкости от затягивающегося молчания никто не чувствовал. Каждый шел сам по себе, удерживая себя в самом себе и по обыкновению вживаясь во всеобщую благостную жизнь. И конечно же, чувствуя при этом, что всеобщая жизнь духовно роднит их. Всем было приятно ощущать это родство, хотя всего несколько минут назад они непримиримо спорили, рассказывая о дуэли, и довели себя в споре чуть не до бешенства. И когда первым заговорил Агамурад, он не нарушил установившегося между ними душевного лада. К тому же его картавый голос прозвучал как-то по-особенному тихо и музыкально доверчиво. Словно какой-то дополнительный музыкальный инструмент гармонично вклинился в завораживающую музыку оркестра, которую творили кружащиеся в поднебесье печальные шуры. И это произошло так потому, что журчащий голос Агамурада зазвучал как его внутренний голос. Словно он, Агамурад, незаметно для себя заговорил сам с собою и стал высказывать вслух свои заветные, глубоко интимные мысли.

– ...Но вот какая мысль меня тревожит в последнее время. Я ведь в любом случае не могу всю жизнь охотиться с острогой. Сейчас я, можно сказать – пацан. Могу часами лазить голышом в закатанных под плавки трусах, словно цапля – по водным зарослям: мелякам и болотам. А если за мной погонятся менты или рыбнадзоры – убежать от них через колючие пойменные кусты: гребенчуки, непролазные солянки и плотные камыши, в которые и дикий зверь не сунется, боясь ободрать заживо шкуру. И ни один одетый по форме мент – не бросится в эти заросли догонять меня. А мне – ничего в этих зарослях: на моем голом теле не будет и царапинки даже... Но это сейчас... А когда мне будет тридцать лет, а потом сорок?... Я стану аксакалом... Каково тогда мне будет голым лазить по болотам? стыдоба ведь...

Правда, у меня есть задумка. – Тут голос Агамурада сделался особенно мягким и журчащим. Явно чувствовалось, что он, Агамурад, доверчиво делился с друзьями детства своей главной, но зыбкой пока мечтой. Которую можно от себя отпугнуть неосторожно высказанным: грубым или громким словом, как диковинную дикую птицу. – Я хочу попробовать научиться ловить рыбу голыми руками. Ты же ведь помнишь, – обратился он теперь к Сереже, чтобы заручиться его душевной поддержкой, – как мы ловили руками рыбу в Круглом озере, в которое впадает наш целебный сероводородный источник? Ясное дело, рыба там дурела от сероводорода и была как пьяная... Или, фиг его знает, может быть и лечилась, принимая сероводородные ванны, как и мы люди. Ил там точно целебный... Я облазил берега всех озер в окрестности, а мелкие озерца – вдоль и поперек. Везде донный ил черный, грязный. Чернота порою въедается в ноги, что отмыть её бывает трудно. А на Круглом озере как будто в бане: ноги отмы-

ваются до белизны, да и волосы, заметил тоже, становятся гуще и шелковистее. Да и общее состояние после того, как полазаешь по Круглому озеру, становится спокойное, напористое и бодрое, как после зеленого чая с добавлением высушенного и раскрошенного золотого корня или корня женьшеня.

А может быть действительно рыба спускалась в Круглое озеро по каскаду пойменных озер, чтобы полечиться? А мы их ловили бедолаг... – Неожиданно даже для себя самого задался вдруг этим вопросом Агамурад, и, чуток помолчав и похмурившись, ответил себе. – Впрочем, рыбы – на то они и рыбы, чтобы их ловить. Хорошо помню, что та, которую мы вылавливали на Круглом озере – была жирная и вкусная – и в ухе и в жарехе. Она, помню, стояла на том озере, уткнувшись мордами в берега. А берега там чакановые обрывистые, метра по полтора – два. И корни у чакана – длинные, извилистые, переплетенные между собой. В них полно нор и всяких углублений в виде маленьких подводных пещерок. Сазаны, а то, ведь бывало, и сомы тоже забьются в эти пещерки или даже норы и стоят неподвижно часами, чуть шевеля жабрами. Их, помню, трогаешь пальцами, поглаживаешь, а они – хоть бы хны. Даже кажется, что им нравится, что их поглаживают, словно это не рыбы, блин, а домашние кошки. Будто каким-то гипнозом мы тогда усыпляли их. Кто знает, может быть наши ладони и излучали тогда гипноз. Сазаны те безропотно позволяли себя прижимать к стенкам пещерок, чтобы можно было удобно ухватить их под жабры. А когда рядом не было стенок и приходилось утыкивать их мордами в ил, они тоже безропотно позволяли это с собою делать, были будто уснувшие. И только когда пальцы обоих рук цепко обхватили их за жабры, они начинали неистово дергаться и трепыхаться. Но поздно, кто их теперь из своих рук выпустит? Разве что только – чтобы бросить в лодку...

От их трепыхания, понятное дело, поднимался шум, и другие рыбы, стоящие рядом, испуганно разбегались. Поэтому нужно было выбирать самого крупного из всех, до которых дотягивались руки... Трогаешь их всех по очереди, нежно поглаживаешь. А потом как бы ненароком обхватишь бережно ладонью, чтобы определить кто на сколько тянет. Этот – граммов на шестьсот или девятьсот. Тогда – к другому: другой может быть – крупнее. А если нет, то возвращаешься – к самому крупному... Все это нужно было делать бесшумно, без резких движений, чтобы вода не шевелилась и рыхлый донный ил не поднялся мутным облачком со дна. Понятное дело, когда не попадалось крупных сазанов, приходилось обходиться тем, что есть. До сих пор со смехом вспоминаю, как Никитка от жадности хватал сразу по два, а то и по три полукилограммовых сазанчиков, которых сам же и сбивал в кучку... И надо же, иногда ему это удавалось. Но чаще всего сазанчики, начав трепыхаться, выскальзывали из его ладоней, когда он их вынимал из воды. Те, отчаянно трепещущие, плюхались обратно в воду. Поднимался невероятный шум. И едва ли не все сазаны Круглого озера с шумом бросались врассыпную, на озере начиналась истошная паника... Все камышовые и чакановые заросли начинали ходить ходуном... Некоторые сазаны, а может быть и сомы тоже, я их тогда не мог еще видеть под водой, застревали в зарослях и начинали биться в них, поднимая бурные брызги, как это бывает у рыб только при икромете. Короче, Никитинская жадность не одну нам рыбную ловлю испортила... Смешно, конечно, теперь вспоминать это, но тогда мне всегда было жалко преждевременно законченной рыбалки. Я всегда злился на него, и не любил с ним ловить рыбу руками на Круглом озере...

Другое дело с тобой. Помнишь, как мы однажды напали на одну пещерку? Метра полтора в ширину и в глубину где-то так же. В ней еще были разные углубления и норы. Конечно же, помнишь, такое не забывается. Лично ятакое, наверное, буду помнить всю жизнь. В эту пещерку набилось, до сих пор думаю, штук десять – двенадцать сазанов. И все крупняки – от полутора до трех килограммов. Я поначалу растерялся: никогда не сталкивался с таким большим количеством крупных сазанов. К тому же их, таких огромных, удержать в руках невозможно: вырвется за милую душу каждый, поднимет шум, брызги и всех распугает. Хотя гла-

дятся позволяют... Трогай их – не хочю: за тугие бока, поглаживай нежно от головы до хвоста – не шевелятся, и даже будто мурлычат, как дремлющие коты. Короче, я лично не знаю, что с такими делать. А смотрю, ты как ни в чем не бывало вынимаешь из воды двухкилограммового сазана, словно ведешь за веревочку безропотного бычка. И он начинает трепыхаться, когда оказывается в воздухе, и когда уже неслышно его трепыхания... И бережно, спокойно, словно это плотвичка двухсотграммовая, опускаешь его в лодку... Потом опять приседаешь и через пару минут также спокойно вынимаешь из воды второго крупача... И вот тут-то я разглядел, что ты их не держишь руками под жабрами, а насаживаешь на указательный палец правой руки через пасть и под жабры, как на кукан. А левой рукой бережно придерживаешь за пузо, чтобы не трепыхался... Но честно говоря, мне та рыбалка на всю жизнь запомнилась твоим бесподобным выражением лица. Ты – сидишь по шею в воде, и даже немного задрал вверх голову, чтобы погрузиться в неё еще глубже. Лицо твое безмятежно, глаза – простодушны, как у ребенка, словно пьешь свежесваренный чай в тени под навесиком в пятидесятиградусный полдень. И тебе, как обычно – вечный кайф: тебя обдувает прохладным ветерком. Ты нежишься и наслаждаешься глубокой расслабленностью... И вот с таким выражением лица вдруг достаешь из воды одного двухкилограммового сазанчика, потом как не в чем не бывало – второго, третьего...

Хотя, конечно же, не обижайся только, ты – всегда отличался хитрожопостью. Всегда мог придумать что-нибудь такое, что еще никто не придумывал. Ну, и я тоже, сам знаешь, не лыком шит, сразу въехал, как это ты делаешь и тоже решил попробовать... Выбрал самого крупного, нежно прижал его к рыхлой стенке... Попробовал всунуть в пасть палец, а она у него закрыта... Но тогда, я это уже тыщу раз всем рассказывал, и до сих пор смех разбирает, пощекотал ему пальцем под горлышком, словно коту... Он и раскрыл пасть, я туда – указательный палец. Он сжал палец... Я замер, чтобы не спугнуть его... Он стал палец сосать и даже вроде причмокивать, как это любят делать сазаны... Ну, он чмокнет, я – раз, и палец – еще глубже... Он еще раз чмокнул, а я – еще глубже палец... А потом до такой степени расхрабрился, что даже умудрился поглаживать подушечкой пальца его небо... Ну, он и пропустил палец под жабры. А когда мой палец просунулся наружу из-под жаберной крышки, я его сцепил с большим пальцем в замок... И не было теперь на свете силы, которая расцепила бы мои пальцы. Так что можно было считать, что этот сазан – мой. Но подумал, если потяну его за жабры, чтобы вынуть из воды, то он, почувствовав насилие над собой, опомнится и начнет вырываться. Поднимет шум и все другие сазаны в панике бросятся кто куда. Испорчу тебе и себе рыбалку. Тогда я подсунул под его брюхо левую ладонь. Он улегся на неё, словно это было дно пещерки. И когда стал медленно поднимать его ладонью к поверхности воды, он не пошевелился. Даже когда оказался весь на воздухе, то оставался быть неподвижным, словно загипнотизированный. И только когда я его бросил в лодку, он забился на дне лодки... Хорошо, что у нас на ней были высокие борта, точно выпрыгнул бы. Короче, я получил от твоего способа ловли – ошеломительный кайф. И когда также обхаживал второго крупача, то старался не торопиться, чтобы потянуть удовольствие. За час мы с тобой взяли из той пещерки девять крупачей: я – четыре, а ты пять, но ты взял и самого крупного: он потянул на три двести. Но, говорю тебе, там было больше, точно знаю, что минимум пару штук ушли из пещерки в сторону... Но, думаю, не потому, что мы их напугали, а, наверное, по какой-то своей причине...

Агамурад замолчал. Вновь образовалась долгая пауза. Возникло ощущение, будто он, вообще, ничего не говорил. Будто рассказанное им – было проговорено про себя, а Сережа и Бердымурад каким-то образом всего лишь прослушали его мысли. Словно его сознание, как поезд метро, ненадолго и неожиданно выехало было на освещенную солнцем земную поверхность, а затем снова надолго ушло под землю. Разве что только теперь без музыкального доверчиво журчащего голоса Агамурада сделалось как-то по ностальгически грустно. И показалось даже, что и роняемые шурами с небес протяжные крики стали звучать тоскливее и надсад-

нее. Но все равно в образовавшейся матерой тишине обмелевшего водохранилища, в которую, сыпаясь с небес, отчаянно втыкались огненными иголками пронзительные крики щурок – оставалось быть что-то величественное и непоколебимое, заботливое и материнское. То, на чем вообще держится мир.

Сережа больше всего на светелюбил такое состояние окружающего мира. Когда удавалось воспринимать его сполна и без малейших усилий. И как бы само собой разумеющееся открываться ему всеми фибрами своей воодушевляющейся души. Такое состояние в последнее время его стало настраивать и на философский лад. Ему из-за своей напористой любознательности хотелось теперь не только бездумно благостно переживать его, но и сполна осознать его загадочную природу. Но еще больше такое состояние окружающего мира манило Сережу чем-то, вообще, неведомым и таинственным. Иногда даже пугающим не на шутку, но иногда и воодушевляющим до горлового спазма. Потому как от ошеломительных духовных перспектив, открывающихся вдруг перед ним в такие моменты, у него перехватывало дух.

Ему с детства хотелось проникнуть за пределы благостного состояния окружающего мира. В нем жило вроде как изначальное знание, что ТУДА человеку можно дотягиваться только духом и мыслью. Ибо дух без мысли ТАМ потеряется и загнется, а мысль без духа ТУДА вообще не протиснется... Для него постижение ТОГО запредельного мира было подобно покорению двумя альпинистами (духом и мыслью), связанных друг с другом единой страховочной веревкой – высочайшей отвесной скалы, вершина которой теряется в облаках. Сначала карабкается вверх Дух, закрепляется и оглядывается вокруг. Потом подтягивает к себе Мысль, которая постигает все неведомое, что узрел Дух.. И по своему обыкновению приводит все это ко всеобщему знаменателю постигнутых уже людьми знаний, расширяя объем их и интеллектуально обживая то, что не было обжито. И тем самым – создает для Духа новый твердый и надежный фундамент, опираясь на который, Дух может вновь дерзко подниматься ввысь по отвесной скале, на которой между иллюзиями и реальностями не видно практически никакой разницы...

– А меня всегда удивляло, откуда на Круглом озере. Вообще, берется рыба. – Вдруг, неожиданно даже для самого себя заговорил вслух Сережа тихим уютным голосом. И тоже, как Агамурад, будто забылся и, говоря сам с собою, стал проговаривать вслух потаенные мысли. – Я имею в виду, конечно, сазанье стадо. Плотва, да и сомята на Круглом озере водятся постоянно. Сомы там питаются плотвой и лягушками, и вырастают килограммов до десяти. Нормальные сомята для такого озерца. А вот сазаны там – то бывают, то их напрочь там нету. Понятное дело, они приходят и уходят. И, надо полагать, приходят по ручью, соединяющим Круглое озеро с каскадом мелких озер, раскинувшихся под пойменными буграми. Скорее всего, приходят ночью, потому как никто никогда в этом ручье сазанов не видел. И так же ночью уходят. Но ведь никто никогда не видел сазанов и на тех мелких озерах. Сомят на тех озерах ловили, и плотвичек иногда тоже, а сазанов – никогда.

Правда, был случай, но это было всего лишь раз, когда в половодье, в мае, те озерца за ночь разлились и затопили близлежащие огороды. Люди утром пришли на те огороды, а сазаны мечут икру – на картофельных и помидорных грядках. Это был тогда настоящий икромет на затопленных огородах. Я сам не видел, был в школе, но мать рассказывала, как килограммовые, а то и потяжелее пузатые сазанихи бросались в тесные смородиновые кусты и, чтобы выдавливать из себя икру, бились в них, поднимая метровые брызги. Да так отчаянно и громко, что взрывной гул стоял на затопленных огородах. Но опять же тот икромет продолжался всего день, а наутро сазанов на огородах не было. Но их и, вообще, нигде не было. Поселковые браконьеры, узнав об икромете, понабежали все кому ни лень – поохотиться с вилами за сазанами. Но на Круглом озере и на всех мелких пойменных озерах стойко стояла тишина. Камыши и чакан если и трепыхались, то не особенно сильно и шумно – это метала икру мелкая плотва. А сазаны куда-то напрочь исчезли. Ясное дело, что за один день их всех переловить не могли.

Чужих людей на огородах не было. А мать и другие огородники ловила их допотопным способом – передниками, майками или рубашками, как сачками. Мать тогда поймала штук двенадцать, да и то не особенно крупных – где-то граммов по шестьсот каждый...

Сережа замолчал, но, чувствуя, что недоговорил мысль, что она как бы застряла на выходе, отчего даже чуток запершило горло. Кашлянул пару раз, сглотнув слюну, будто невольно желая отправить вместе со слюной подступившую мысль обратно, в недра подсознания. Слишком интимной для него была эта мысль, чтобы ею еще и с кем-то делиться. Но мысль оказалась своевольной: она не хотела заглатываться обратно. И Сережа, прокашлявшись в кулак, решил-таки её высказать.

– Честно говоря, мне, вообще, думается, что те озера связаны с каким-то огромным подземным озером. Хотя и даю себя отчет, что это предположение – чистойшей воды фантастика. Но тем не менее кажется, и всё тут... Впрочем, я читал, что такие подземные озера бывают. Вполне возможно, что и под нашим поселком – огромное подземное озеро, а то и целое море... И сазаны по какому-то ведомому только им одним лазу, время от времени уходят туда. Живут там в крошечной темноте, не зная ни людей, ни света. Они же ведь и по цвету разительно отличаются от речных сазанов и тех, которых мы ловим на водохранилище. Речные – обычные: выражено золотистые, чешуя у них шершавая и плавники красные. А те, озерные – почти белые... Чешуя у них гладкая нежная, золотистый оттенок присутствует, но слабенький, слабенький. И плавники – бледно-розовые, словно и не сазаны вовсе. Можно, конечно, предположить, что это стадо сазанов альбиносов. Но это маловероятно. Обычно в стаде альбиносы бывают поодиночке... И мясо у них, если помните, нежное, рыхлое, легко разваливающееся, и, главное, вкус какой-то необычный...

Сережа замолчал снова, ожидая, что друзья детства возразят ему по поводу подземного озера, но они молчали. Трудно было даже понять, слушали ли они его, или были погружены в собственные мысли так глубоко, что, вообще, ничего не слышали... Но когда от застрявшей мысли вновь стало першить горло, Сережа прокашлялся и решил признаться в самом сокровенном.

– Мне, если уж совсем как на духу..., то следует сказать, что то место всегда казалось особенным. Мне почему-то кажется, что там, за пойменным берегом, под огромным пустынным плато покоится под пятиметровой земляной толщей полуразрушенный каменный город. То ли там излучение какое-то присутствует, то еще что-то непонятное и неизведанное, но я всегда, когда бываю там, чувствую что-то величественное. Древнее обстоятельное... И, удивительное дело – щемящее родное... Мне часто снится тот город. Я легко узнаю его строения по особенной кирпичной кладке. Там красноватые жженые кирпичи и голубой раствор, который даже не схватывает, а намертво склеивает их. Я слышал, что древние для прочности добавляли в кирпичи и раствор яичные желтки... Во сне я всякий раз непременно в ошеломленном упоении трогаю ладонями заборы и стены домов. От них всегда исходит приятное душевное излучение. Такое приятное, что его и описать, наверное, невозможно. Да и, думаю, и сравнить не с чем будет, потому как ничего подобного в реальной жизни я никогда не испытывал. Разве что может быть нечто похожее переживал, когда в грудном возрасте прижимался щекой к голой груди матери. Но не уверен, потому что помню это очень смутно.

И почему-то тот снявшийся мне город – всегда пуст. И я в нем – один. Но мне совсем не одиноко. Мне только вроде как тоскливо, но эта щемящая тоска – настолько сладкая, что мне не хочется, чтобы она покидала меня. И просыпаясь или вспоминая об этом подземном городе, я жалею, что не переживаю больше той остро-щемящей и неопишимо сладкой тоски по чему-то неведомому, но чрезвычайно родному... В самые счастливые и таинственные сны я обычно долго брожу по тому городу... Некоторые места узнаю, отмечая себе, что они мне уже снились. Я улыбаюсь этим знакомым местам, и мне кажется, будто они мне в ответ улыбаются тоже. Будто они мне рады так же, как я рад им. У меня создается такое впечатление, будто я

всегда жил и живу в этом городе. Словно люди, которые построили его (а среди этих людей, точно знаю, и я был тоже), куда-то и по неизвестной мне причине ушли, а я тут остался один. Потому что не мог покинуть город, потому что моя душа намертво срослась с его душой... И мне еще почему-то всегда было известно, что под этим городом – находится огромное подземное озеро, и что вода чистая, прозрачная, невероятно вкусная и прохладная вытекает из этого подземного озера и течет игривым блистающим на солнце ручьем вдоль центральной улицы города. В те стародавние времена, когда город был полно-людным, горожане пили воду из этого ручья. И были здоровыми, сильными и чрезвычайно одаренными, потому как эта вода изначально обладала и обладает таинственными целительными свойствами – наделять пьющих её людей чем-то сверхъестественным...

А вот чем именно – мне до сих пор так и не удалось понять... Всякий раз, когда мне снился этот таинственный подземный город, я хотел понять это. Я бродил одиноко между полуразрушенных городских развалин и всеми фибрами своей доверчиво распахнувшейся души ощущал, что пыльные кирпичные стены заборов и домов что-то пытаются сообщить мне чрезвычайно важное. Может быть, главная тайна была в причине, по которой люди когда-то насовсем ушли отсюда. И как-то мне даже подумалось, возможно, прямо во сне, а может быть и наяву, когда я уже вспоминал этот сон и находился под его сильным впечатлением, что люди здесь превратились в сазанов и по ручью уплыли жить в подземное озеро. Я почему-то не стал тогда превращаться в сазана, а, может быть, мне тогда и не пришло время превратиться в сазана, а пришло оно только сейчас... И поэтому мне так часто снится этот сон, о чем-то мне напоминая и желая, чтобы я что-то понял...

Я всегда знал и почти абсолютно уверен сейчас, что вся тайна того города в ручье. Я всегда заворожено смотрел на него. Он почему-то напоминал мне годовалого малыша, жизнерадостного, дородного, непосредственного и несказанно счастливого. Он мило самозабвенно журчал, словно был углублен в какие-то свои увлекательные детские игры. Быстрая чистая вода его была ребристой от мелких волн и разбрасывала вокруг ворохи уютных солнечных зайчиков. Когда они попадали мне в глаза, я радостно и счастливо шурился. И сам ощущал себя счастливым ребенком в минуты пробуждения после долгого безмятежного детского сна. Я в радостном упоении присаживался на глиняный бережок ручья, опускал в его прохладную воду растопыренные пальцы и наблюдал за узорным завихрением, которое образовывалось за ними. Иногда мне казалось, что это водное завихрение – и есть письма, которые самопроизвольно всплывают на водной поверхности, ведая мне обо всем, о чем томительно хочется знать. Но увы, я не знал этой водной письменности, или же знал когда-то, но забыл так сильно, что и не мог даже вспомнить, а знал ли вообще.

Тогда я вставал и шел почему-то всегда вниз по течению ручья. Его бережок всегда был сухим: иногда глиняным, иногда песчаным, и мои ноги по щиколоткам вязли в мягком нежном сыпучем песке. Песок был теплым, но ни столько физически, сколько душевно: казалось, что он сам радостно обнимает проваливающиеся в него мои ступни и лаково нежит их... Но кое-где, чаще всего перед шлюзами и после них, берег был узорно выложен каменной плиткой. В замысловатом изысканном узоре, не похожим ни на один, видимый мною в реальной жизни – доминировали приглушенные красные и зеленые цвета. Точно знаю, что их причудливые переплетения что-то обозначали, и это что-то, возможно было, еще одним ключом к пониманию того, что пытался понять я. Но сколько я ни вглядывался и как бы пристально ни вдумывался – нет, не мог ничего понять – и все тут...

И тогда мне оставалось последнее. Я смотрел на воду, точнее, через неё – на дно весело струящегося ручья. Вода была прозрачная, как только что вымытое оконное стекло. Разве что только от небольшой ребристости дно было местами чуток деформировано. Но это нисколько не мешало, а скорее, наоборот, придавало большей таинственности и многозначительности всяким различным предметам, словно специально для меня брошенным на дно ручья. В раз-

ных сновидениях это были разные предметы. Правда, некоторые повторялись, я их узнавал, но они были разбросаны уже в иной последовательности. И только один предмет: это бледно-желтая статуэтка какого-то идола – присутствовала непременно во всех моих сновидениях. Она иногда лежала, иногда стояла, иногда была повернута лицом против течения. Но чаще всего её взор был устремлен по течению и немного вверх, словно этот, искусно выточенный из слоновой кости языческий божок – смотрел из воды в небо под определенным углом зрения. И видел там то, что, увидь и я тоже, вмиг бы понял, что хотел понять. Меня подмывало несколько раз забраться голым в ручей, лечь на спину – на его ровное дно и посмотреть сквозь воду на небо. И странное дело, я этого не делал из-за пустячного опасения – оказаться быть смешным. Да, действительно, я боялся, что ежели так сделаю, то меня тот же самый ручей пренебрежительно поднимет на смех, и больше никогда мне сниться не будет.

Среди других предметов, лежащих на дне ручья. Мне также наиболее отчетливо запомнилась старая солдатская помятая алюминиевая кружка. Она мне снилась разов пять, наверное. И всякий раз я думал, что уж она-то, ну никак не должна здесь быть, потому как это – посуда из нашего, настоящего, а не прошлого времени. Я даже говорил себе во сне, что кружка эта мне представляется, что она всего лишь – плод моего воображения. И самое интересное, такое объяснение меня вполне устраивало. Я вполне допускал, что предметы, в которые я пытливо вглядывался сквозь метровую толщу прозрачной ребристой воды – могут быть как и реальными, так и иллюзорными, кажущимися мне. Более того, некоторые из них могут быть и теми и другими поочередно и даже, что, вообще, сейчас для меня непостижимо – теми и другими одновременно.

Такой, например, была расколотая надвое большая глиняная чаша в форме греческой амфоры и внушительная горка высыпавшихся из неё драгоценных камней и золотых монет. Сама чаша была несколько замутнена, и рисунок на её выпуклых боках был бледным, едва различимым. Но драгоценные камни и золотые монеты искристо блестели на солнце, разбрасывая вокруг ворохи жизнерадостных непоседливых солнечных зайчиков. Я не раз присаживался у этой кучки драгоценностей, доставал из воды, засовывая в неё руку по плечо, тяжелые золотые монетки и разноцветные камешки: изумруды, рубины, алмазы. Но они всякий раз, едва высыхали – превращались в какую-то дрянь или гадость. А когда я их бросал в ручей обратно – вновь становились теми, кем были – блистательными цветными камешками и желтыми монетками.

Помню, там была еще и красивая летняя женская туфелька с кованной серебряной пряжкой. Я тогда удивился, наблюдая, как её длинные кожаные белые шнурки завораживающе колеблются на течении, словно стебли водорослей, или длинные усы, дремлющего на дне ленивого сома. А еще тогда подумал: как же кожа туфельки совсем не испортилась от долгого пребывания в воде? И тут же меня вдруг осенило нелепым предположением, что туфелька упала в воду всего несколько минут назад. Что её обронила милая барышня, которая неловко перепрыгивала через ручей. Хотя, и это тоже точно помню, никаких барышень, и, вообще, кого-либо из людей вокруг меня не было.

Но больше всего меня там поразил блестящий нож с тяжелой серебряной ручкой, хотя и снился-то он мне всего один раз. И по форме своей он был обычен: напоминал одновременно небольшой кинжал и столовый прибор. Правда, явно было видно, что это – старинный предмет, может быть даже самый древний из всех предметов, лежащих тут под водой. Может быть даже именно с него и началась история этого подземного города. Но он поразил меня ни столько своим древним происхождением, а – тем, что он, лежа на небольшой кочке на дне ручья – ритмично колебался, словно маятник от часов. Повернется блестящим своим лезвием вправо – выглядит, как боевой кинжал, отточенное оружие отнятия человеческих жизней; повернется налево – прекращается в мирный столовый прибор, оружие, поддерживающее людскую жизнь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.